

Поэт и сердце

РОМАНТИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА

Пролог

Где-то, где-то моя земля,
Недописанная поэма.
Смысл всей жизни,
Моя теорема.
Доказать которую нельзя.
Где-то, где-то моя земля...

И печальная,
Как кристалл,
Из шатров безнадежно синих
Выйдет девушка к морю сизому
И шагнет
На пустой причал.

Не найти мне этой земли...
А в извечной тоске по чуду
Тают в знобкой дали корабли.
Нет на картах моей земли.
И вообще никогда не будет...
Что ж, пора поднимать паруса!

1

Нет на картах моей земли. Но если вы пройдете проливом Влюбленных через архипелаг Надежды, то через восемь дней пути строго на зюйд-вест из лазурных волн Ласкового океана поднимется белоснежное чудо – остров Очарования, на котором вольно и живописно раскинула свои города и села прекрасная страна Какулия.

Ее столица Рамивенто как будто бы сбегала с гор, чтобы сгрудиться в толпу домов у самых волн Ласкового океана и глазеть любопытным на каждый парус, расцветающий в пронзительно синей дали океана.

Какулия – страна веселых и жизнерадостных людей, страна еженедельных карнавалов, конкурсов красоты, состязаний певцов и ораторов, страна, выращивающая апельсины и кофе и продающая их в перерывах между войнами грозному островному государству Папулия, которое, в свою очередь, продавало Какулии кофе и апельсины по тем же ценам.

Пульсирующая нить торговых отношений двух стран горячила кровь их экономики, и она расцветала год от года, давая какулийцам и папулийцам хлеб и наслаждения.

Время от времени, когда страсти в парламентах обоих государств раскалялись, как галька в полуденный зной, из-за знаменитой фразы какулийского генералиссимуса Делакокосса: «Увы, Папулия – это не Какулия», вот в такие

тревожные дни вольные граждане обеих стран брали в руки тяжелые сабли и отправлялись воевать.

Тяжкий стон стоял тогда над Рамивенто, куда стекались отряды воинственных какулийцев. Молодые женщины в тоске и отчаянии рвали на себе одежды, так беззаветно, что воители могли увидеть, от каких прекрасных тел отрывает их тяжкое ратное дело, а старухи посыпали голову пеплом, так как им давно уже нечего было показывать.

Огромный барабан, сделанный из шкур двухсот папулийских кошек, захваченных в плен легендарным Делакокоссом в одной из смертельных схваток с врагом, стучал так воинственно и громко, что в столице Папулии Амивенто осыпались зубцы крепостных башен, словно лепестки роз.

И тогда из парламента грозной походкой выходил генералиссимус Делакокосо в, золотистых доспехах, препоясанный мечом, на котором были выбиты знаменитые его слова – «увы, Папулия – это не Какулия».

Воины кричали «Слава!», молодые женщины дорывали то, что оставалось из их одежды, а старухи подальше прятали пепел, чтобы не пылить.

Сумрачным взглядом окинув площадь, где стояло его воинство, Делакокосо всходил на возвышения, тяжело ступая по каменным ступеням, и кричал громовым голосом:

– Умрем же, братья!

И сверкающие доспехами ряды суровых бойцов жертвенно ревели в ответ:

– Умрем полководец!

Звучали команды, воинство погружалось в лодки и устремлялось на штурм неприступной крепости – столицы Амивенто.

Жаркая битва разгоралась у стен ее. Сверкали пренепойские клинки, гремел барабан, и какулийцы шли на приступ, выкрикивая боевой свой клич: «Какулия!»

А со стен Амивенто в них летели гнилые апельсины и дохлые кошки, цветочные горшки и вчерашние котлеты, и неся не менее грозный клич: «Папулия!» К вечеру страшная битва затихала, какулийцы скорбно уводили на лодки своих раненых под смех ликующих врагов.

А через месяц прославленный полководец какулийцев Бертрано де Граматто делал дерзкий набег на какулийскую столицу Рамивенто, и битва вспыхивала вновь. Сверкали сабли, гремел барабан, и цепи папулийцев накатывались на крепость, с которой мужественные защитники метали во врага дохлых ворон, тухлые яйца домашней и дикой птицы и вчерашние голубцы.

Снова лилась кровь, и уже папулийцы уводили раненых под дерзкий смех защитников крепости.

Так десятилетиями длилась эта изнурительная война, обрастая легендами и прорастаяobeliskами в честь выдающихся побед. После битв заключался почетный мир, и торговые фелюги – бывшие боевые корабли – тяжело отдуваясь, везли апельсины и кофе – в Папулию, и кофе и апельсины – в Какулию.

Но грозное войско, дислоцировавшееся в столице Рамивенто, продолжало упорно готовиться к будущим битвам, настойчиво постигая воинское искусство на центральной площади под руководством генералиссимуса Делакокосса и четырех его маршалов.

Вообще вооруженные силы Кдкулии насчитывали 86 человек. Среди них был один генералиссимус, четыре маршала, 20 генералов, 60 полковников и один рядовой. Как видим, военную карьеру в какулийской армии можно было сделать сравнительно легко. Достаточно было купить себе блестящие доспехи, принести присягу генералиссимусу, – и полковничий чин тебе обеспечен. Ниже полковника никто не хотел быть, а звание генерала присваивал парламент за выдающиеся ратные подвиги.

В грозных вооруженных силах Какулии был всего один рядовой Динвиоверитасс, которому генералиссимус не раз предлагал стать полковником или хотя бы, на худой конец, подполковником, но Динвиоверитасс скромно, но твердо отвечал:

– Я иду на смерть не ради аксельбантов. Почту за честь пасть за Какулию рядовым.

Правда, жена солдата усматривала в скромности мужа иные мотивы, но разве интересовало мнение глупой бабы блистательного Делакокосса?

Так как Динвиоверитасс был единственным рядовым – полковники устраивали за ним настоящую охоту. Они караулили его в пивных, подстерегали в туалете, задаривали жену подарками, чтобы пустила под кровать.

Дело в том, что он был, как мы знаем, единственным рядовым, и им, единственным, могли командовать полковники. А им смертельно хотелось командовать, так как жены уже давно отучили их это делать дома. Они мечтали командовать, но рядовой-то был один!

Вот поэтому они караулили его у калитки, подстерегали в туалете и канючили из-под постели. Динвиоверитасс, который только что вернулся из пивной, где его щедро кормил и поил очередной претендент, капризно брюзжал:

– Ну ладно, ладно полковник. Ваша очередь будет семнадцатой. Зайдите через две недели – пожалуйста, а пока сбегайте в трактир и принесите две-три бутылки красненького.

И счастливый полковник рысью мчался в трактир, и брал пять бутылок красного, и льстиво улыбаясь, протягивал их Динвиоверитассу и заискивающе бубнил:

– Может, пораньше? У меня и сабля новая!

– Я сказал через две недели – и точка, – капризничал рядовой, и жена из огорода слышала, как

А через две недели жена, дети, все родственники полковника, истекая гордостью, зачарованно смотрели, как шагал их полковник по площади с шашкой наголо и громко командовал:

– Ать, два, ать, два! Левой, левой!

И сзади него рядовой Динвиоверитасс четко печатал ногу и энергично размахивал руками, честно отрабатывая будущее угощение в трактире «Промой кишки, парень!»

Так бы и пробежала жизнь воинственной Какулии в сражениях, ратных трудах, и торговых схватках, если бы три года назад не вынырнуло из лазурных пучин океана зеленое чудище и после зубовного скрежета ржавого люка не выплонуло бы на палубу десяток матросов неизвестной национальности.

Матросы шумно сели в лодку, шустро захлопали веслами и через несколько минут высадились на берегу и двинулись к столице, откуда им навстречу величественно выходил, сверкая золотом и знаменитой саблей, великий Делакокоосо.

Веснущатый офицерик с помощью юркого переводчика, ловко гоняя во рту жвачку, сообщил генералиссимусу, что отныне Какулия находится под покровительством Заокеании и чтобы какулийцы сидели тихо в своем Рамивенто и так же играли в свои игры, но не дай бог им сунуть нос в западную часть страны, где Заокеания будет разрабатывать их полезные ископаемые, неся им, какулийцам, прогресс и цивилизацию.

– Это что, ультиматум? – грозно спросил генералиссимус, и брови его собрались черной тучей, чтобы из-под них брызнула гроза и испепелила наглых пришельцев.

– Как вам угодно, – ловко перепассовал с правой верхней на левую нижнюю челюсть жвачку офицерик.

И лениво добавил:

– Чтоб через час там, где я сказал, даже какулийского духа не было видно.

Из-под черных туч, наконец, громынула гроза:

– Что ж, мам не привыкать глядеть смерти в лицо. Ведь так, ребята? Умрем!

– Умрем! взревели вооруженные силы страны, и ввысь взметнулись звонкие пренепойские клинки.

Офицерик равнодушно сплюнул на бархатный башмак великого Делакокооса и, почему-то не рассыпавшись в прах от такого святотатства, сел в лодку. Отплыв метров триста, он взмахнул платком – зеленое чудище харкнуло в сторону берега огнем, и три четверти вооруженных сил Какулии навечно вошли в легенду вместе со своим полководцем – генералиссимусом Делакокоосо.

С этого дня 13 эстиэня 18711 года Какулия получила официальное покровительство Заокеании, которая принесла ей прогресс и цивилизацию.

2

На три нескончаемо долгих года пала ночь на Какулию. Захлебнулись неискренним весельем карнавалы, на корню засохла торговля, так как покровители забрали торговые фелюги для своих нужд, облетели яркие перья с грозного когда-то войска, которое было сокращено до 50 человек и возглавлялось маршалом Делабрависсимо.

Маршал был изрядно дряхл и хотел только покоя. Он знал, что его имя вписано золотыми буквами в историю какулийского народа, и хотел дожить остатки своих дней спокойно, купаясь в волнах заслуженной сланы. Поэтому он не утруждал вооруженные силы баталиями и учениями и выводил своих полковников на площадь только по случаю празднования знаменательных дат, которых было не так уж много в жизни страны – девять-десять в месяц.

Энергичные заокеанцы развернули в западной части страны бурную деятельность. Они понавезли туда разных машин, в мгновение ока среди пальм и кипарисов вырос городок и заработали шахты. Тупорылые танкеры, с набитыми

золотом и ураном брюхами, жирно отрыгиваясь гудками, утюжили лазурные волны ласкового океана под бдительным присмотром пушек зеленой канонерки.

Сорок заокеанцев, высадившись на острове Очарования, согнали за колючую проволоку шахт пять тысяч какулийцев и с помощью плетей и автоматов обучали их азам цивилизации.

Страна притихла, парализованная страхом. Даже походка переменялась у какулийцев. Раньше мужчины вышагивали по улицам, развернув плечи, высоко вздернув голову, а теперь они по-старушечьи семенили на цыпочках, будто боялись ненароком разбудить качающееся на рейде зеленое чудовище.

Люди не ходили, а скользили вдоль стен, с надеждой поглядывая на розовое здание парламента, где днем и ночью кипели страсти, где днем и ночью государственные мужи Какулии обсуждали положение дел в стране.

Президент страны, восьмидесятитрехлетний Деламакаконе, во время этих страстных дебатов спал с открытыми глазами, задумчиво и внушительно уперев голову в ладонь, и с гостевой галерки горожанам казалось, что отец нации сверлит каждого оратора пламенным взглядом и взвешивает каждое их слово на весах своей государственной мудрости. Просыпался он только тогда, когда звонили к обеду и ужину, и с неожиданным проворством нырял в боковую комнату, где его уже ждали любимые морковные котлеты и салат из морской капусты. Запив трапезу стаканом апельсинового сока, отец нации снова засыпал, чтобы по звонку колокольчика проснуться и идти досыпать на следующий тур дебатов.

Как всякий уважающий себя парламент, какулийский имел свою оппозицию. Правящей партии разумных, которую вот уже сорок пять лет возглавлял Деламакаконе, противостояла оппозиционная партия неразумных, вождем которой был Поэт. Когда он поднимался па трибуну, стремительный, с горящим взглядом черных глаз, с гривой седых волос, с нервно вздрагивающими прекрасно очерченными губами – галерка взрывалась аплодисментами. Народ любил своего Поэта, потому что чувствовал, как Поэт любит народ. Этого не запрячешь, и этого не добьешься с холодным сердцем.

Он был прекрасен, Поэт, когда, уперев ладони в трибуну, подняв к галерке бледное лицо с горящими глазами, вдруг вопрошал среди гробовой тишины:

– Ответьте мне, братья какулийцы, мы еще люди?

И сверху обрушивался водопад:

– Люди, люди, люди!

И тогда Поэт начинал свою речь. Позицию разумных изложил Отец нации Деламакаконе. С трудом прогнав дремоту, он внушительно откашлялся и изрек:

– Дебатам надо положить конец. И у этих стен есть уши. Мы – мозг нации, мы – ее глаза и совесть – решили так. – Он внушительно поднял палец. – Борьба с пришельцами можно двояко. Так, как предлагает безумный Поэт, – значит пролить море крови. Так, как предлагаем мы, – бескровно. Я нашел гениальный выход. Надо дать за-океанцам еще десять, двадцать тысяч рук на шахты. Чем больше рук – тем быстрее они возьмут из нашей земли все, что им нужно. А когда возьмут – им здесь делать будет нечего, и они сами уберутся...

Четыре десятка старческих голосов, дребезжа, провозгласили:

– Браво!

С левой части скамеек, где сидела оппозиция, раздался львиный рык Поэта:

– Позор!

И галерка эхом отозвалась:

– Позор! Позор! Позор!

А Поэт уже был па трибуне.

– Нет, мы не люди, – гневно сказал он, вперив огненный взгляд в президента, которому этот взгляд явно мешал заснуть. – Нет, мы не люди, – я повторяю вам, разумные. Мы стадо свиней, которых три года выпасают, чтоб пустить под нож. – Бледный как степа, он с полминуты тяжело дышал, держась за сердце. – У нас философия свиней. Пока нам не мешают жрать – все прекрасно, – наконец выкрикнул он. – А на то, что наши братья двадцать часов под солнцем, почти без пищи, надрываются, обогащая захватчиков, – наплевать! Нам-то жрать не мешают. Отдадим в рабство еще двадцать тысяч братьев наших – лишь бы не трогали мое корыто. Позор!

И галерка отзывалась:

– Позор! Позор!

Он был дьявольски прекрасен, пятидесятилетний любимец народа – Поэт. Седая грива волос развевалась над трибуной, как пороховой дым, глаза разили жарким огнем, нервные руки взлетали над головой, то переплетаясь, как змеи, то застывая в мучительной судороге, и из закушенных губ вдруг прорывался стон, Поэт хватался за сердце. И в зале становилось так тихо, что слышно было, как шумит океан. Все знали, что у Поэта боковое сердце.

А он, отдышавшись, поднимал страдающим глаза, и совсем тихо, со стоном, говорил:

– Поднимитесь с колен, какулийцы! Жить на коленях – значит жить в хлеву. Мы – гордый к вольный народ.

Он медленно поднимал руку, и перст его указывал туда, где качалась на волнах канонерка.

– Их сорок, и на шахтах сорок. Нас – десятки тысяч. Десятки тысяч сильных, красивых мужчин. Как же не стыдно нам перед нашими женами и любимыми! Как же нам не стыдно! – И он поднимал взгляд к галерке, откуда ему прямо в сердце светили нежные, невыразимо любимые глаза. – Нет, мы пойдем на них, мой страдающий народ! – снова взвился на самой высокой ноте его крик. – Мы пойдем на их пушки и автоматы! Мы зальем их своей кровью – автоматы захлебнутся и не выстрелят. Пусть половина нас погибнет, но Родина снова будет свободной. Вы слышите, она снова будет свободной! Разве за это жалко отдать свою жизнь?!

И Поэт хватался за сердце, потом за трибуну, к нему подбегали друзья, брызгали ему в лицо водой, под руки уводили смертельно бледного домой, и галерка провожала его грозным криком:

– Веди нас, Поэт!

А в уголке галерки, зажата жаркими потными телами, истолканная грубыми локтями, сидела, сжавшись в комочек, как нахохленный воробушек, хрупкая медноволосая девушка, с огромными, чистыми, полными слез глазами, семнадцатилетняя девушка по имени Эриола и исступленно, как молитву, шептала:

– Как я тебя люблю, Поэт. Как я тебя люблю! Возьми мою жизнь за одно только счастье видеть и слушать тебя, любимый.

И она украдкой дотрагивалась до своих опухших губ, которые целовал Поэт в чистой бухте над морем, целовал только два часа назад, больно и горько, до крови, потеряв все свое красноречие, выдыхая, как будто бы умирая, только одно слово – любимая.

3

Ты не ищи меня среди живых,
Зачем мне жить, когда надежд не стало.
Я прорасту былинкою в пыли,
Чтоб ты меня ногами попирала.

Вот такие грустные, веявшие тоской и безнадежностью четверостишия писал Поэт. Это новое направление, появившееся два года назад, критики назвали эссионизмом, а грустные четверостишия – эссионами. Очень часто влюбленные, которым законы страны не разрешали соединить свои судьбы, начитавшись всласть эссионов, со слезами на глазах, взявшись за руки, прыгали со скал в пропасти.

Такой же печальной и безнадежной, как эссионы, была любовь Поэта и Эриолы. Да-да, неистойой и нежной, но печальной, изнуряющей и страстной, но безнадежной. И тому была причина. Поэту с больным сердцем было пятьдесят лет, а Эриоле едва исполнилось семнадцать. А законы страны, не делающие исключений ни для кого, жестко гласили: разница в возрасте супругов не должна превышать десяти лет. В Какулии строго следили за нравственностью и боялись, что молодая супруга, если она будет младше мужа лет на двадцать, на закате его жизни начнет искать развлечений с более молодыми мужчинами.

О роковой любви Поэта и Эриолы знала вся Какулия. Два года поэты слагали о ней оды и поэмы, песни и эссионы. Оппозиция хотела внести поправку к Закону, разрешающую верховной власти в исключительных случаях разрешать браки, не укладывающиеся в строки закона. Наконец, оппозиция пошла на то, чтобы просить Президента личным указом, учитывая исключительные заслуги Поэта перед отечеством, разрешить его брак с Эриолой, но отец девушки, богатый торговец Динтарро заявил во всеуслышание, что в таком случае он собственными руками сбросит дочь со скалы в пропасть, ибо она с детства предназначена в жены сыну его друга Делакарро.

Но Эриола готова была на все, даже на смерть от рук отца, только бы соединиться с любимым, а Поэт, истерзав свое сердце новыми эссионами, от которых горькими слезами заливалась его любимая, твердо говорил, целуя ее мокрые глаза:

– Нас разлучит только смерть!

И они уходили в бухту Уединения и часами сидели, взявшись за руки, глядя в океан, который напевал им свои песни, такие же грустные и безнадежные, как эссионы. Потом они спохватывались, видя, как розовеет небосклон, и отчаянно бросались в объятия друг друга, и их губы сливались в горьком, страстном поцелуе, таком поцелуе, как будто он был последним в их жизни.

Впрочем, разве знали они, несчастные влюбленные, не был ли этот их поцелуй действительно последним?

Они не назначали свиданий, ибо она не могла точно сказать, когда сможет вырваться из-под строгого взгляда отца. Поэтому Поэт всегда ее ждал на горе Надежды у их любимой бухты Уединения. Он ждал часами, без воды и пищи, уставившись бессмысленным взглядом в тропинку, которая карабкалась к его ногам из города. Он просто сидел и ждал, слагая эссионы и заучивая их па память, чтобы завтра их затвердила на память страна.

Он сидел один, как орел на вершине скалы, к сам он в сумерке ночи напоминал скалу, а серая грива волос – облачко над ней. Но вот он вздрагивал, приподнимался, глаза загорались, бледное лицо вспыхивало румянцем. Он слышал ее шаги.

Поэт раскидывал руки, как орел крылья, и устремлялся с горы ей навстречу. Он не бежал, он летел навстречу свой Эриоле, почти не касаясь тропинки, рассекая темноту, летел, чувствуя, как в последнем усилии напрягается больное сердце, чтобы дать ему дожить до мгновенья, когда он рухнет в объятия любимой и замрет у нее на груди, не понимая, как он еще живет, как он может жить, когда счастье так смертельно непереносимо.

Они смотрели друг другу в глаза, и оба одновременно думали:

– Если уж умирать, то вот так, в объятиях друг друга.

– Зачем ты бежал, несмышленищ, – нежно говорила Эриола, глядя жесткие волосы Поэта. – Ты совсем не щадишь своего сердца. Разве не прошла бы я этих двухсот шагов?

– А вдруг бы не дошла? Вдруг бы по пути тебя подхватил ураган, вдруг унесла бы тебя сказочная птица Вельмас? – шептал Поэт, глядя ее лицо, целуя ее тонкие руки.

– Никакому урагану не оторвать меня от земли, на которой ждешь меня ты.

И они тихо смеялись, забыв обо всем на свете, и, обнявшись, уходили в бухту Уединения. Эриола сбрасывала с себя легкое платье, и, откинув голову с развевающимися волосами, взбрыкивая коленками, обнаженная, бежала к морю. А Поэт смотрел на ее хрупкие плечи, тонкие нервные руки, гибкий стан, на стройные длинные ноги и молитвенно вопрошал небо:

– Боги великие! За что мне это счастье! Возьмите за каждый миг его всю мою жизнь по капле!

Как маленький ребенок, он (Поэты – ведь тоже дети!) слегка кривил душой и отлично это понимал. Он понимал, лукавый, что видеть Эриолу – этого ему мало. Он ведь отлично знал, что через минуту-другую он будет целовать, эти хрупкие плечи, горящие жаждой самоотдачи любимые глаза.

А потом, вдруг будто разом прозрев, придавленные неумолимой истиной, они долгие часы будут молча сидеть, взявшись за руки, бессмысленно глядя в океан, мучаясь своими горькими думами.

Иногда они поднимались к Отшельнику, который жил в каменной пещере на горе Надежды. Отшельник был стар и мудр, не терпел людей, которых проклинал за леность мысли, за бессмысленность их существования и которым предрекал страшную кару.

Раз в год, когда беззаботные какулийцы приходили к горному озеру крестить младенцев, Отшельник изрыгал на них страшную хулу.

Он кричал им, брызгая слюной:

– Вы не заметили, как перестали быть людьми. Ваши мозги заплыли жиром. Бас не интересуется прошлое и не волнует будущее. Вы только жрете и жрете. А что будет, когда вы все сожрете, что растет вокруг вас? Вы начнете жрать друг друга! У вас все фальшиво – и ваши песни, и ваше веселье, и ваши игрушечные войны, и ваше игрушечное правительство. Но так не может долго продолжаться. Это закон жизни, о котором вы забыли. Вы забыли даже, что такое жизнь. Вы спите – и ваша теперешняя жизнь – сон. Проснитесь же сами! Проснитесь! Будет хуже, если вас разбудят. Тогда вы поймете, что такое жизнь. Тогда вы поймете, что такое война. Тогда вы поймете, что такое страдание, боль, смерть. Я вам предрекаю горе! Проснитесь!

Но какулийцы добродушно смеялись над чудным стариком, устраивали у озера веселые карнавалы. Их разбудили пушками канонерки. Но не испытывал Отшельник радости оттого, что оказался прав. Какая тут может быть радость, когда смертное горе взошло черным солнцем над любимой его Какулией.

Может быть, единственными людьми, кого с радостью встречал Отшельник, были Поэт и Эриола. Суровые черты его лица разглаживались, когда он замечал влюбленных, карабкающихся к его пещере. Он подбрасывал в костер хворосту, вытряхивал шкуру барса и выходил гостям навстречу, и только глаза его, спрятанные под густыми бровями, тлели почти незримым огоньком нежности и доброты.

Он, невнятно ворча, лохматил золотистые волосы Эриолы, целовал в лоб Поэта и величественным жестом приглашал влюбленных в пещеру, где уже весело разгорался костер.

Они любили сидеть у огня, обнявшись, и слушать неторопливую мудрую речь Отшельника, любили угощаться вкусной золотистой рыбкой харалиссой, зажаренной на камнях, любили просто молчать, глядя в костер, в вечное необъяснимое и притягательное таинство огня.

Иногда Поэт вдруг начинал читать стихи, стены пещеры многократно возвращали ему пламенные или нежные слова, и очарование этих слов удваивалось, утраивалось, приобретая новый, более глубокий смысл.

– Что есть Поэт? – медленно вопрошал тогда Отшельник, стирая ладонью с лица печаль. – Поэт, – говорили древние, – есть человек, который кричит от невыразимой муки, а из уст его вырывается прекрасная музыка.

Старик подходил к краю пещеры, откидывал полог и оглядывал темное небо с тысячами ярких звезд.

– Вот они, сердца поэтов! Так уж они устроены, эти сердца, что и существуют ради того, чтобы дарить нам радость любви или радость печали. И когда умирает поэт – его сердце не может смириться с тем, что на этом закончена верная служба людям, и взмывает в небо, и становится прекрасной звездой, чтоб человек, любящий ее, как прежде, испытывал радость.

– Я запомню это, старик, и напишу стихи, – глухо говорил взволнованный Поэт, сжимая руку Эриолы.

– Ты уже сотни раз писал об этом, сынок, – тихо смеялся Отшельник. – Сотни раз, только не замечал этого...

Он задергивал полог, и сразу же причудливые тени начинали воинственную пляску по стенам пещеры. Старик клал свои ладони на головы Поэта и Эриолы и, мягко улыбаясь, говорил:

– Вы по-настоящему счастливы, дети мои. По настоящему, ибо любите...

– Но как тяжело наше счастье, мыслитель, – тихо говорила Эриола, поднимая свои огромные печальные глаза к Отшельнику. – Как тяжело оно, если ежедневно я поливаю его слезами.

– Глупенькая, – отвечал Отшельник. – Потому-то ты и ощущаешь его счастьем, что вскармливаешь его болью. – Он начинал сердиться: – Подумай своей хорошенькой головкой: если б всегда бесконечно долго было хорошо – разве это было бы счастье? Это была бы твоя повседневность. Но когда настрадавшись и намучившись ты, наконец, попадаешь в объятия любимого – вот тогда ты познаешь цепу счастьем. Не может быть любви без боли. Не любовь это будет, дочь моя. Это будет существование... Серое и бессмысленное. Что ты скажешь на это, Поэт?

– Ты во многом прав отец, во многом. Мое сердце согласно с тобой. Оно тебя понимает. Но если у любви нет будущего...

– Остановись, Поэт! – вскричал Отшельник. – Любя, нельзя думать о будущем. Это уже не любовь. Любовь – это сию минуту, это вслепую и без раздумий, сейчас, а там пусть все летит к чертям! Любовь – это слепота и жертвенность. И страдание... Не страдая, не познаешь любви...

Отшельник ласково погладил Эриолу по голове.

– Я и люблю вас как раз за вашу настоящую любовь. Вы живете мгновением, вы страдаете из-за будущего, но не боитесь его. Вы отдаетесь настоящему безоглядно и отважно. Вот это и есть любовь! Вот это и есть счастье. Ты, Поэт, не оглядываешься на больное сердце, ты, Эриола, на укоры родни. Вы любите, и да святится ваша любовь!

Потом они еще долго сидели у костра, и каждый беседовал со своими мыслями, пытаясь найти в них выход или хотя бы надежду на него.

Перед уходом Отшельник отозвал Поэта в сторону и почему-то грустно сказал ему шепотом:

– Тебя хочет видеть Архон – великий медик Папулии. Он сказал мне, что тронут твоей любовью и хочет тебе помочь...

– Спасибо, старик, спасибо, – оживился Поэт, обнимая Отшельника. – Спасибо. Я много слышал об Архоне. Если он обещал помочь – значит, это в его силах...

– Ну ладно, иди с богом, – почему-то расстроился Отшельник. – Иди с богом, только помни, что любовь не лечат медики...

И, потемнев лицом, старик задернул полог, а Поэт и Эриола заспешили вниз, к огням города, не обратив внимание на внезапную печаль старика и его непонятное напутствие.

Метров за двести от дома Эриолы они остановились. Звенели цикады, под ажурным мостиком незлобиво бурчал ручей, нежно стонала от любви в висячих садах ночная птица Чаус.

Поэт взял в руки бледное лицо Эриолы, поцеловал ее в губы, и она сразу же прижалась к нему всем телом, трепеща и плача, как ночная птица в висячих садах. Он провел ладонью по ее лицу и снова ощутил слезы, и сердце сто сжалось от невыразимой муки.

– Эриола, слезинка моя. Простишь ли ты меня когда-нибудь? Я не должен был допустить нашей любви. Я – мудрей и старше, я должен был остановить себя, когда огонь только разгорался...

– Молчи, несмышлениш, молчи. Никогда больше не говори мне этого, любимый. Ты дал мне счастье... – вздрагивающими губами шептала Эриола.

– Но что тебя ждет, девочка моя? Проклятие родителей, изгнание; нищета... Ведь я не проживу и двух лет. Я это знаю... А что потом?

– А меня не интересует, что потом, это не интересует меня, если даже ты проживешь только два дня. Я твоя на всю жизнь сколько ее отпущено... на всю нашу жизнь... Я пойду за тобой...

– Не смей так и думать! – закричал Поэт так громко, что на миг замолчалицикады и прервался стон ночной птицы – Не смей так думать, – уже тише, умоляя, повторил он. Тебе семнадцать лет... Твоя судьба только возшла. Она едва прикоснулась первыми лучиками разума к зениту жизни. Ты не смеешь, Эриола...

– Помолчи, несмышлениш, помолчи, пожалуйста. Я подожду, пока унесет твои неискренние слова горный ветер. Я подожду... А ты пока подумай, зачем мне нужна будет жизнь, и разум, и солнце, если не будет тебя... Я сколько раз просила тебя побережь сердце, но разве ты меня слушал? Ты каждый раз надрываешь его в парламенте, истязаяешь его в творчестве и вине, ты насмехаешься над ним, когда карабкаешься на свидание со мной в горы, разрываешь его мукой сострадания к людям, ты обрекаешь его на казнь, любя меня...

– Но я иначе не могу. Иначе бы я не был Поэтом, ты слышишь, Эриола?

– Слышу, слышу. И плачу. Ведь иного бы я тебя и не любила...

Она уткнулась лицом в его грудь, а он, чувствуя, как острой болью сдавливает сердце от любви и безысходности, от нежности и отчаянья, ласково успокаивал ее, глядя пышные, пахнущие костром волосы.

– Мне обещал помочь великий Архон. Ты понимаешь, сам великий Архан... О, Эриола!

5

Не спалось. Прохладный ветер с океана раздувал шторы, освежая лицо, и не мешал думать. Где-то далеко в городе играла музыка, и доносились рваные обрывки песенных куплетов. «Золотая молодежь» Какулии веселилась. Как синкопы, доносились еле слышные взрывы смеха.

– О, моя несчастная, легкомысленная страна! Мало тебе одного урока? – печально проговорил Поэт, закрывая окно.

– Видимо, мало, великий, – мягко произнес чей-то голос из-за зарослей роз.

– Кто ты и что делаешь в моем дворе? – не испугавшись, но сердито спросил Поэт.

– Я жду тебя, Поэт. Жду вторые сутки, но не решаюсь подойти, так как на твоем челе я постоянно вижу знаки печали и горестных раздумий.

– Вот как? – усмехнулся Поэт, разглядывая выступившего из темноты на свет мужественного юношу, лицо которого показалось ему знакомым. – Ты, ясновидящий, разглядел а моем лице знаки печали и раздумий?

– Не надо смеяться над обожающим вас. Ведь я не могу ответить вам тем же.

– Вот как? – снова повторил Поэт, проникаясь интересом и доброжелательностью к неожиданному собеседнику, держащему себя в этой несколько необычной обстановке с почтением ученика к учителю, но и с видимым достоинством. – Так кто же ты и что тебе надо?

Юноша подошел ближе и гордо развернул плечи.

– Я – Тьерро, староста каменщиков Рамивенто, и пришел к тебе для важного разговора, который трудно вести вот так.

– Ты – Тьерро, староста каменщиков Рамивенто, и тебе трудно вести разговор так, – как эхо, не вникая в суть слов, повторил Поэт и вспомнил эти мужественные черты. Да, да, этого юношу он всегда видел на галерке во время своих выступлений в парламенте в кругу таких же горячих юношей, которые криками «браво» и «слава» сопровождали его пламенные речи.

– Ну что ж, заходи в дом, Тьерро – староста каменщиков.

По обычаям страны, они с минуту помолчали, раскуривая трубки, потом Тьерро, испытующе глянув на Поэта, спросил:

– Ты слышал, что в Какулии в глубоком подполье организовалась партия Пробужденных?

– «Ах вон оно что», – молнией пронеслось в голове Поэта, но лицо его оставалось бесстрастным, и голос не дрогнул, когда он ответил: – Да, я слышал, каменщик, про эту партию. Вы ставите цель прогнать парламент и провозгласить республику Вольного Труда. Читал я ваши лозунги на стенах. Но я ведь член парламента!

– Какой это парламент? – мягко улыбнулся Тьерро. – Ты же сам его назвал «спящим правительством». Ты же сам говорил, что если парламент – мозг жизни, то сегодня этот мозг заплыл жиром.

– Да, я так говорил, каменщик. Я именно так и говорил...

– И ты говорил, что парламент проспал Родину.

– И так тоже я говорил, каменщик. Но что дальше?

Юноша вскочил и, взволнованный, забежал по комнате, но, наткнувшись на рассеянный взгляд Поэта, остановился и грозно сказал:

– Народ хочет взять свою судьбу в собственные руки. Ты сам говорил, что пришельцы превратили нас в рабочий скот. Народ не хочет быть скотом. Он уничтожит пришельцев.

Поэт взволнованно поднялся с плетеного кресла, близко подошел к Тьерро и спросил его, глядя глаза в глаза:

– Но как вы это сделаете, безумные? Армия уничтожена...

– Какая это армия? – засмеялся Тьерро. – Игрушечная армия, игрушечный парламент, игрушечные войны, чтоб взбодрить застоявшуюся кровь. Сейчас надо действительно поклясться: свобода или смерть!

– И чего ж ты хочешь от меня, каменщик?.. – спросил поэт, массируя правой рукой сердце. – Чего ж ты хочешь от больного поэта?

– Имя твое! Имя и только имя! – вскричал юноша, схватив Поэта за руку. – Мы сильны, но у нас нет вождя, за которым пойдет народ. А за тобой он пойдет. Ведь это народ кричал тебе в парламенте: «Веди нас, Поэт!» Это мы тебе кричали...

– Имя? – усмехнулся Поэт. – Но разве только имя? Ведь в случае неудачи вы возьмете и мою жизнь...

– Да, это так. В случае неудачи ты потеряешь жизнь. Но мы верим в победу. У нас нет другого выбора, кроме Победы, великий. И ты это знаешь сам.

– Да, я это знаю, – так же рассеянно, не вдумываясь в смысл слов, повторил Поэт. – И что же я должен сделать?

– Двадцать пятого юнния – важное заседание парламента. Ты должен еще раз попытаться его разбудить, склонить на сторону народа. Твоя речь для всех наших сторонников будет сигналом, что все идет по плану. Попытайся добиться, чтоб нам открыли арсеналы – у нас нет сабель и мечей. А идти с голыми руками на пушки – бессмысленно, хоть мы и пойдем, если будет надо. А когда победим – ты создашь новый, народный парламента...

– Но каков ваш план, каменщик? Ты должен мне его открыть, если требуешь, чтоб я стал вождем восстания.

Тьерро пронзительно глянул в глаза Поэту. Секунду он колебался, затем решительно махнул рукой.

– Мы верим, тебе, Поэт. Верили и верим. План в общих чертах таков. Тридцатого юнния, ровно в полночь, мы нападаем на корабль и на охрану рудников. Уничтожаем всех до единого пришельцев, корабль пускаем на дно, шахты засыпаем и вооружаемся оружием, которое захватим в бою. Им мы будем отражать любое нападение.

– Романтика, – грустно усмехнулся Поэт. – Коршун, попробовавший цыпленка, снова прилетит в курятник. – Но иного выхода нет. И никогда не будет. Это вы верно говорите. Дилемма одна – или жить в ярме, или бороться. А заглядывать вперед – не в моих правилах. Я с вами!

– Мы другого и не ждали, великий. С твоим именем мы победим! – дрожащими от волнения губами прошептал Тьерро.

– Одним именем не победите, каменщик. Что вы к нему прибавите?

– В горах у нас уже год обучаются воинскому делу два отряда по пятьсот юношей. У каждого из них своя цель. Первый отряд должен захватить и уничтожить корабль. Они подплывут к нему в полночь. Враги нас так презирают – и правильно презирают! – что даже не выставляют караул. Одна наша девушка – она теперь мертва, – глаза Тьерро сверкнули, – была на корабле, чтоб специально все рассмотреть и запомнить. Она внесла в нашу борьбу первый взнос – свою жизнь...

– И вы хотите голыми руками...

– Да, голыми руками. Десять – пятнадцать человек на одного. Десять погибнут, чтоб одиннадцатый добрался до горла захватчика...

– Вы настоящие какулийцы, – взволнованно воскликнул Поэт, – Теперь я верю, что Какулия не погибнет. Я с вами, братья. Я с вами!

– А вы что думали, что играющие в солдатиков полковники и оплывший жиром парламента – это Какулия? – стукнул кулаком по столу Тьерро. – Вы думали, что эти свиньи, ждущие мясника, – это народ?

Поэт примирительно поднял вверх ладони:

– Я так не думаю, каменщик. И ты это знаешь. Но дальше, дальше...

– Дальше? – потухшим голосом переспросил Тьерро. – Дальше – дело за вторым отрядом. Он ворвется в виллу на шахте, где живут охранники. Лавой. Ряд за рядом. В них будут стрелять, но они будут рваться и рваться в дом, душить пришельцев руками, мертвыми телами, рвать зубами, пока не прикончат всех до единого. А

восемь отрядов по пятнадцать человек – мы сформировали эти группы на шахтах – прикончат восемь гражданских служащих Заокеании. Они тоже вооружены. Но пятнадцать на одного... Я думаю, осечки не будет...

– Итак, осталось ждать...

– Ровно два месяца, Поэт. Ровно два месяца. Тридцатого южня в полночь, по сигналу, все отряды и боевые группы бросятся на врага с твоим именем на губах...

– Но кто и где подаст этот сигнал? – все еще не поверив в реальность происходящего, спросил Поэт.

– Ровно в полночь на скале Отшельника зажжется костер. Он будет виден воем отрядам. А зажжет костер сам Отшельник.

– «Вот оно что!» – поразился Поэт, вспомнив суровые черты мыслителя и ощутив мгновенную боль от того, что старик не доверился ему, не поверил в него и скрыл от Поэта замыслы народа. «А я-то считал себя твоим сыном», – с обидой подумал Поэт, не подозревая, что именно Отшельник подсказал пробужденным имя вождя восстания.

6

– Сколько я спал, прекрасная Джелитта? – спросил Поэт, внимательно рассматривая белоснежные занавеси на окнах, кроваво-красные цветы на тумбочках, непонятные приборы с резиновыми трубками и колбами, в которых все еще бурлила, как океан после шторма, какая-то зеленая жидкость.

За окном пели птицы, и глухо, словно древний барабан – табукар, ухал прибой о скалы.

– Так сколько же я спал?

Джелитта приблизила к нему смеющееся лицо так близко, что ее длинные волосы защекотали ему грудь и в ноздри ударил запах молодости и знойного полдня.

– Ты всего только три раза не видел, как солнце выплывало из Ласкового океана. Но зато ты будешь это видеть, Поэт, много, много лет. Ты понял меня, юноша?

– Не смейся надо мной, Джелитта, не смейся, – вяло сопротивлялся своему счастью Поэт, начиная понимать, что чудо свершилось, Архон не обманул.

– Она и не думает над тобой смеяться, мальчуган, – донесся от двери густой бас Архона. Он ворвался в дверь, как носорог, и просторная палата сразу ужалась втрое, казалось, что гигант немедленно все вокруг расшибет, сломает, затопчет. – Теперь тебе двадцать пять, как я и обещал, и это засвидетельствует священный консилиум и вручит тебе свидетельство с тремя гербовыми знаками Академии. Ты можешь засылать сватов к Эриоле, Поэт. Ты можешь это делать хоть сегодня, юноша.

– Ты разрешаешь мне встать? – удивленно спросил Поэт, веря и не веря в чудо.

– Если ты даже не захочешь, я заставлю тебя сделать это! – загромыхал Архон, срывая с Поэта простыни. – А ну вставай, лежебока, и иди к зеркалу!

Это было удивительно. Давно забытое чувство юношеской силы, когда играет каждый мускул, когда все тело жаждет движения, когда каждая мышца налита упругой силой, когда хочется бежать, прыгать, на что-то употребить избыточную энергию – вот такое чувство охватило Поэта.

Двумя прыжками, обнаженный, он подскочил к зеркалу и замер. Да, он видел себя в зеркале до последней черточки. Но он видел себя двадцатипятилетнего. Разгладились складки на шее и животе, исчезли с лица одутловатость и морщины, пропали жировые мешки на талии, распрямился стан, и белая грива его волос точно растаяла, позолоченная гением великого медика и ученого.

– Ты явил чудо, Архон, – потрясению произнес Поэт, свободно, как атлет перед состязанием, играя мускулами тела.

– Да, я сделал чудо, – спокойно ответил Архон. Может быть, последнее в моей жизни, – он даже не огорчился, что Поэт, залюбовавшийся своим юным телом, не обратил внимания на печаль его последних слов. – Я это сделал во имя вашей любви. Твоей и Эриолы. Такая любовь стоит великих жертв.

И опять заметил Архон, что Поэт не обратил внимания и на эти его слова.

«Что ж, все правильно. Все так и должно быть, – уже совсем спокойно подумал великий медики ученый. – Все так и должно быть».

Откуда было знать этому юноше, любующемуся своим гибким телом, что Архон отдал ему до последнего миллиграмма сок корня Ластурна, корня, росток которого ему привез черный человек из Лутанзии, и который он сорок лет поливал, изо дня в день, кровью холонокровной ящерицы Каррунды, живущей высоко в горах. Сорок лет... Десятки тысяч дней... Он растил этот корень, чтобы на закате своих дней выжать его под медным прессом, разбавить химическими растворами и выпить – и снова стать молодым, сохранив мудрость старика, опыт всей жизни и молодую силу гения.

– Подойди ко мне, Поэт, – приказал Архон и еще долго выслушивал, чем дышит молодое, уже нетерпеливое тело, довольно причмокивал полными губами, и только глаза его оставались печальными, такими же печальными, как тогда, когда он слушал эссионы Поэта. – А теперь садись, счастливый, и слушай меня внимательно.

Архон подождал, пока Поэт уселся на постель и изобразил на своем лице почтительное, но не совсем искреннее внимание, какое обычно изображают юные, когда пожилые докучают им нравоучениями.

– Я велел слушать меня внимательно! – загремел Архон таким громовым голосом, что в саду испуганно замолкли птицы. – Слушать, ибо от того, что ты услышишь, зависит твоя судьба.

Поэт удивленно и осмысленно смотрел на него, не понимая, отчего сердится великий, сотворивший чудо.

– Открой уши, Поэт, и слушай. Я дал тебе молодость. Я вдвое омолодил твое тело. Ему сейчас двадцать пять лет. Двадцать пять лет твоему телу, легким, желудку, почкам, кровеносным сосудам. Одно неподвластно любому гению и любой науке – твое сердце и твой мозг остались пятидесятилетними.

Он подождал, пока Поэт усвоил сказанное, и продолжил.

– Твой мозг будет служить тебе еще десятки лет. Но сердце – сердце твое больное. Поэтому, чтобы долго жить, – ты должен его беречь. Ты должен его беречь, как мать свое единственное дитя...

Набывчившись, Архон зашагал по палате, и она сразу же ужалась до размеров тесной клетки для птиц.

– Я слишком многим пожертвовал для тебя, Поэт. Во имя твоей любви, твоей поэзии, во имя твоего дела. Ведь с какулийских гор захватчики уже посматривают на мою страну. Поэтому твое сердце – это твоя плата мне за все! Ты понял?

Поэт кивнул, чувствуя, как слова Архона морозят его кожу.

– Это хорошо, что ты понял. Значит – никакого вина, никаких трубок, никаких бессонных ночей, никаких волнений – и ты проживешь десятки лет. Проживешь в счастье, с любимой Эриолой.

Он подошел к Поэту, легко, словно пушинку, поднял его на ноги и, сурово глядя в глаза, потребовал:

– Поклянись, что ты выполнишь мое требование!

Поэт приник головой к груди Архона и, подняв заплаканные глаза, прошептал:

– Клянусь, отец. Клянусь своей любовью. Я выполню свою клятву. Разве я враг себе?

Огромное напряжение, которое испытал Архон, надломило его. Он белой глыбой грузно покатился к двери, бросив равнодушно:

– Иди вниз, к бухте. Там три дня ждет тебя Эриола. Без сна и пищи.

Он бежал к ней, перепрыгивая через камни и расщелины, как барс, бежал, забыв все наставления Архона, и из горла его рвался бессмысленно ликующий вопль дикаря. Он бежал, стройный и гибкий, к своей любимой, а она, Эриола, исхудавшая, с измученными, больными как у чайки глазами, уже протягивала к нему руки и молила бога, чтоб не умереть от радости до той секунды, когда падет он, ее любимый, ей на грудь, и замрут они оба, слившись в единое целое, на всю свою бесконечную жизнь.

А из окна добрыми глазами смотрел на них великий ученый, несчастный человек, и, согреваясь их счастьем, не подозревал даже, какое великое испытание их любви создал он своим гением, ибо даже гений бессилён познать таинство любви, когда добро в мгновение ока может обернуться злом, перед которым бессильна и сама любовь.

Он стоял, Архон, у окна, вдруг разом постарев, и повторял множество раз, как молитву, строки Поэта:

Возьми любовь ее в ладони
И унеси от всех невзгод.

А губы Поэта и Эриолы слились, словно навечно, и они жадно вдыхали друг друга, как вдыхают друг друга море и небо.

7

Только через три дня вырвалась Эриола к своему любимому. Но впервые за два года она не нашла его на горе Надежды. Он не примчался к ней навстречу, раскинув руки-крылья, задыхающийся и бледный, с мокрыми от пота жесткими волосами, не обдал знакомым запахом моря, костра, вина и табака. На горе было пустынно и тихо, только внизу, в бухте Уединения, не сдаваясь, бубнил свою бесконечную песню прибой и белые барашки волн казались неподвижными, словно бигуди на легкомысленных кудрях залива.

Сочно врезанные в небо горы, сгорбясь, брели за горизонт, чтобы утром явиться миру вместе с солнцем. Высоко-высоко над ее головой настороженно и пугливо позевывал огонек, изредка прикрываясь ладошкой туч, – это горел костер в пещере отшельника.

«Может, он там?» – падучей звездой мелькнула мысль, но тут же погасла, сгорев на лету. – Один он туда не ходил никогда...

Стало знобко и немного страшно. В траве шуршали мелкие звери, в кустарниках затевалась какая-то странная возня, и оттуда вдруг брызгало холодными зеленоватыми фосфоресцирующими огоньками.

Эриола беспомощно оглянулась, подняв острые плечи, и нерешительно, почти шепотом, позвала:

– Любимый! Я тут, твоя Эриола!

В кустарнике что-то пискнуло, зашуршало, Эриола вдруг почувствовала холодное движение воздуха – и тотчас мимо ее лица промчалась огромная черная тень ночного охотника – Орлана.

– «Подари мне усладу, печаль,

Разожги мое сердце звездой», –

начала шептать Эриола стихи Поэта, чтобы прогнать вползающий в нее с подножья горы страх.

И тут снизу, со стороны города, до нее донесся еле слышный крик:

– Эрио-о-ла-а! Где ты, Эрио-о-ла-а?

Она тихо и спокойно засмеялась, зажурчала, как ручеек, увидев, как шарахнулись по кустам ее страхи и пугливые мысли. Жаркая волна счастья окатила ее с вершины горы, укутала в теплые меха ночи, и Эриола потихоньку, не отвечая, пошла вниз.

Она думала, глупенькая, что потихоньку. А ноги ее вое убыстряли движение, и она очнулась, видя, как стремительно надвигаются на нее огни города, но уже не могла остановиться, и ликующая, трепетная, будто летя по волнам под парусом буйных своих волос, упала в объятия любимого и замерла, прислушиваясь, как отчаянно колотится в груди ее сердце.

– Эриола!

– Любимый!

– Эри-о-ла!

– Любимый... Мне было страшно.

– И мне.

– Но почему тебе, несмышлениш?

– Я боялся, что ты улетишь. Ты ведь летала по воздуху, любимая... Как чайка-горюн...

– Правда? И мне так тоже казалось. Но я летела к тебе!

– Теперь я это вижу. И в это верю, когда держу тебя в руках.

Она вдруг уперлась кулачками в его грудь, откинула голову и тревожно спросила:

– Но почему ты не ждал меня на горе, как всегда?

– Но, Эриола. Ты же знаешь, как мне надо беречь сердце! Как нам надо его беречь. Оно – наше. Оно – наше будущее. А карабкаясь в горы, я могу его надсадить в любой миг.

– О-о-о, – счастливо протянула Эриола. – Да ты стал совсем молодец! Я тебя за это люблю еще больше! Твое сердце – это моя жизнь...

Она прижалась к нему юным телом, и они, дрожащие переплелись, как лианы, и не было в эти мгновения силы на земле, способной оторвать их друг от друга.

Каплями легкого дождя разбивались у их ног минуты и часы, и вот уже заря прикрыла розовыми ладошками звезды. Эриола очнулась первой:

– Ну что же ты, юноша! Бежим скорее в бухту Уединения. Уже светает.

Счастливая улыбка все еще мерцала на лице Поэта. Он не торопился открывать глаза, только протяжно вздыхал, глотал розовое утро.

– Опять бежать? Ты не подумала о моем сердце, маленькая! Искупаемся внизу, на пляже. Там еще никого нет. Ни души...

– Ты прав. Как всегда прав. Давай руку – и пошли, пока холодный туман не напоз со злой горы Кожедаш.

И через несколько минут Поэт снова, качаясь на волнах нежности, смотрел, как бежала она, его любимая Эриола, бежала к воде, и длинные ее волосы струились по плечам, по спине, как бахромой, опушив светлые, словно вырезанные из луны, круглые бедра.

А на высокой горе умирал огонек. Он умирал, хватаясь дрожащими руками, за последние соломинки хвороста, на мгновенье вспыхивал ярче, будто порываясь им что-то сказать, что-то очень важное и необходимое, и угасающий свет его был пронзительно печален.

Он еще горестно заломил руки, вскрикнул и погас, но влюбленные этого не видели. Они зачарованно смотрели, как из-за гор величественно и неотвратимо выплывало солнце, и спокойно думали о том, что в их жизни теперь будут сотни и тысячи таких вот радостных рассветов.

8

Душная ночь вползла в город через ущелье «Чоак, принеся на своих плечах тысячи бурдюков раскаленного воздуха горячей пустыни. Поникли листья в висячих садах Рамивенто, огромные, как подсолнухи, цветы Ционы лихорадочно свертывали бархатистые, с ладонь, листья, чтоб прикрыть от зноя свои сердца, забились в прибрежные влажные ущелья птицы, хватая жадно открытыми клювами все еще прохладный сок залитого раскаленным золотистым металлом моря.

Поэт лежал на веранде, закутавшись в мокрую простыню, и прислушивался, как беспокойно, ритмично стучит в груди сердце. Сегодня он первый раз за два года не пошел на гору Надежды ждать свою Эриолу, и это его беспокоило, мешало сосредоточиться на стихах.

«Она поймет, – успокаивал он себя, – она поймет, что в такую духоту мне нельзя идти в горы с больным сердцем, Она поймет, любимая, что именно сейчас, когда счастье стало прочным и незыблемым – рисковать нельзя».

Он успокаивал себя, но воображение художника рисовало ему Эриолу, тоненькую, хрупкую, растерянную посреди жуткого безмолвия раскаленной ночи, он даже слышал ее голос, испуганный и нежный, зовущий его, и разумом переживал, пытаясь не допустить эти чувства к больному сердцу.

Он не мог рисковать, Поэт. Уже месяц он жил второй, возрожденной жизнью. Жизнь юноши. Судьба повернулась к нему, наконец, лицом – и удача за удачей падали к его ногам, как перезревшие груши. В Какулии вышли избранные его стихи, в Папулии – трехтомник эссион, его избрали Почетным академиком двух национальных академий, на прошлой неделе он получил Жемчужную ветвь Великого поэта эпохи, которую до него получил в Какулии только гениальный Зоараа – ровно 80 лет назад.

Судьба повернулась к нему лицом, открыла свои несметные кладовые и, казалось, мягко подталкивала в спину – иди, выбирай, что по душе. И он не ленился наклоняться.

Отец Эриолы, убежденный свидетельством консилиума, а еще больше дождем небесных милостей, осыпавших Поэта, сдался и назначил свадьбу на праздник Рыбака – через полтора месяца.

«Мы выстрадали, любимая Эриола, это счастье. Мы его заслужили», – шептал в длинную ночь Поэт, успокаивая себя, но мысль об Эриоле, ждущей его на горе, не давала ему расслабиться и уснуть.

И когда из-за кустарника вынырнуло бронзовое, покрытое капельками пота, лицо Тьерро, он даже обрадовался, что может отвлечься, загнать тревожные думы в самый дальний уголок сознания.

– Здравствуй, великий, – поднял в приветствии руку юноша, – Ты можешь выслушать меня?

– Заходи, брат, мои двери не заперты, – не делая даже попытки встать, ответил Поэт. – Заходи, возьми на подоконнике сок или пиво – и я тебя выслушаю, Тьерро.

Тьерро жадно осушил кувшин пива, несколько раз глубоко вздохнув, сел в плетеное кресло, вытер шейным платком лицо и грудь и лишь тогда сказал:

– Народ счастлив видеть тебя молодым и счастливым, Великий. Партия пробужденных – молодая, и молодой вождь ей еще больше к лицу.

– Об этом позже, Тьерро, – недовольно поморщился Поэт. – Мне противна любая тирания, но сегодня речь о тирании захватчиков. Что ты можешь мне сказать?!

– Все готово, вождь. Мы ждем своего часа. Но этот час пробьет раньше.

– Я тебя не понимаю. Не говори со мной загадками, юноша! – повысил голос Поэт.

– Обстоятельства изменились. Мы выступаем на пять дней раньше. Пришельцы потребовали к первому южнию отдать им двадцать самых красивых девушек Какулии для дома развлечений. В этом списке моя невеста...

– Но, послушай...

– И твоя Эриола... Старый сундук, отец нации Деламакаконе, сегодня подписал этот список.

– Негодяи! Ублюдки! – Поэт вскочил с постели и заметался по веранде, скрежеща зубами. – Они не считают нас за людей, – Но мы – люди! И у нас есть руки. И силы в руках достаточно, чтоб сдавить им горло!

Лицо Поэта мгновенно побелело, нос заострился, губы дрожали.

– Мы их зубами, зубами... – хрипел он, чувствуя, как знакомо из затылка в сердце, раздирая его, поползла боль.

Это его отрезвило. Тяжело дыша, он сел на постель и, прислушиваясь к боли, закрыл глаза.

– Мы так же восприняли это известие, как и ты, Поэт, – донесся к нему будто из глубокого подземелья голос Тьерро... – Тысяча воинов Пробужденных дали клятву перед богами умереть, но не допустить этого. Поэтому мы сдвинули срок восстания. На пять дней. После твоего выступления в парламенте...

Сердце постепенно успокаивалось, боль из него уползала, медленно уползала, словно оглядываясь, не надо ли вернуться.

– Все полны решимости. Но ты должен прийти к нам в горы. Ты – наше знамя, великий. Ты – наш гордый клич. Ты придешь – и удесятишь силы каждого. Я обещал людям это от твоего имени.

Боль уползла. Уползла нехотя, удерживаемая только этим настойчивым голосом. Поэт задышал ровнее, стараясь не слушать, не вникать в смысл слов, но они звучали все громче, давя на перепонки, отдаваясь в затылке.

– Я не пойду в горы – спокойно, с неуловимой обидой сказал Поэт. – Я не пойду в горы, Тьерро! Разве вы не знаете, что у меня больное сердце и оно может не вынести этой страшной дороги! Я не знал, что вы такие жестокие!

Тьерро остановился на полуслове, глаза его начали остывать, потом потухли, подернувшись пеплом усталости.

– Прости, великий. Мы действительно не подумали о твоём сердце. Береги себя. Я передам Пробужденным твои слова: свобода или смерть! Я передам, что ты веришь в нас и в Победу. Мы подождём двадцать дней, подождём твоей речи в парламенте – и тогда пойдём за тобой. За тобой, с твоим именем на устах – и горе тогда пришельцам.

Поэт лежал с закрытыми глазами и ждал, когда Тьерро уйдёт. Он не понимал, отчего тог медлит. Да, он пойдёт с ними. Он к этому готов. Он звал на это. Чего же им еще надо? Он выступит двадцать пятого в парламенте и кинет клич: свобода или смерть!

Тьерро осторожно встал, чтоб не скрипнуло кресло, несколько мгновений, колеблясь, смотрел на Поэта, лежащего с закрытыми глазами, но все-таки еще раз напомнил:

– Значит, двадцать пятого. Двадцать пятого в полночь. Сигнал – костер на горе Надежды. Второй отряд будет ждать тебя там.

Поэт не ответил. Он только приоткрыл глаза и успел увидеть, как юноша перемахнул через перила веранды, и темнота мгновенно поглотила его. Он снова закрыл глаза, и мысль об Эриоле, мягко, по-рысьи начала подбираться к нему, постукивая когтями по полу, но Поэт усилием воли запахнул сознание, и душная ночь закачала его, как мать в колыбели, закачала, забаякала, и он уснул в обнимку с уже привычной мыслью, что завтра он встанет молодым.

Они теперь, не таясь, гуляли каждый вечер по набережной, и люди радостно приветствовали их, любуясь счастьем и юностью. Поэт медленно шел, гордо откинув львиную голову, одной рукой обнимая Эриолу, и добрые глаза его были безмятежны, и безмятежной была улыбка, которой он встречал крики горожан:

– Слава великому!

Он чувствовал под рукой худенькие плечи Эриолы, и сердце его билось ровно и ритмично, привыкая к спокойному ощущению блаженства и радости жизни.

Набережная жила своей обычной крикливой, взбудораженной жизнью. В тавернах рекой лилось вино, из открытых окоп неслись крики и песни, брань и стихи, в скверах хрипли ораторы, что-то доказывая толпе, в игорных домах крутилась рулетка – родная сестра переменчивой судьбы, и сквозь клубы дыма на улицу прорывался чей-то отчаянный вопль, подытоживая тщетность усилий еще одного ловца фортуны.

– «Боже, на что люди тратят молодость! – с сожалением, хоть и немного свысока, думал Поэт, скользя равнодушным взглядом по вечерней жизни Набережной. – Как горько им будет, как пусто через пару десятилетий, когда они поймут, что этих вот, растроченных в тавернах, в дыму и угаре, в никчемной болтовне дней уже никогда не вернуть! А ведь и я был таким же – бездумным, бездарным транжирой молодости... Зато теперь я знаю ей цену! И знаю, что такое счастье!»

Он осторожно сжимал плечи Эриолы, она, рассеянно улыбаясь, теснее прижималась к нему, и они, понимая друг друга без слов, чувствовали, как тепло одного тела переливалось в другое.

– Скоро время дождей, – иногда говорила она, поднимая к нему робкий взгляд. – Ты обещал, что мы пойдем в бухту Уединения, в нашу бухту...

– Я знаю, как ты ее любишь, маленькая, – нежно сжимал ей плечи Поэт. – И мы пойдем туда. Но ведь это очень далеко. В межгорье. А моему сердцу нужен покой. Ты помнишь, о чем говорил Архон? Разве нам плохо с тобой сейчас?

– Хорошо, любимый, – говорила она, сама не понимая, отчего в ее голосе, как холодная дождевка по спине, вдруг проскальзывала печаль.

Она старалась не думать об этом. Ведь Поэт жил для нее одной. Она видела это каждодневно. Он отвалил холодным приемом и ссылками на болезнь горластых, слегка развязных, но веселых своих друзей – поэтов, которые раньше вваливались к нему с бутылками черного, как ночь, лиссийского вина, и до рассвета вместе с тучами дыма из окон дома Поэта неслись стихи, веселый смех, споры и песни.

Теперь в комнатах стало тихо и спокойно, и только редкими вечерами пианола осторожно вздыхала от ласковых прикосновений пальцев Поэта.

Он перестал ходить в клуб Несогласных, где поэты, философы, художники и ученые устраивали еженедельные дискуссии и до изнеможения отстаивали в пылу словесных битв каждый свое мироощущение, свое понимание красоты и смысла жизни. Не забегал он, как бывало, и в поэтическое кафе «Мы придем на рассвете», где в богемном угаре рождались лучшие его эссеи.

Вес свое время он отдавал ей и стихам, которые становились настолько изящнее и пленительней, что уже не требовали музыки, и люди их пели, каждый на свой мотив.

О черном списке, подписанном подлым Деламакаконе, он ничего не говорил Эриоле, заранее решив, что за два дня до срока он отправит ее в горы к Отшельнику, а потом, если восстание не удастся, переправит Эриолу в Папулию к Архону.

– О чем ты думаешь, любимая? – спросил Поэт, видя затуманенные грустью глаза Эриолы.

Она неуверенно ответила:

– О тебе. О чем же и о ком я еще могу думать? Он улыбнулся:

– Не надо грустить. У меня все хорошо. Сердце совсем не болит. Ты увидишь – мы проживем с тобой много, много лет.

– Я не об этом, извини, родной. Я не об этом подумала. Ты не сердись, но мне кажется, что мне чего-то не хватает... Я сама не могу понять.

– Глупенькая девочка, – засмеялся Поэт. – Все у ног твоих. Я сейчас могущественен, как бог. Любое ожерелье, любое платье...

– И не об этом я, родной. Мне не надо ни ожерелий, ни платьев. Мне нужен только ты... Такой, каким я тебя знаю, каким люблю... – мучилась она, сама себя не понимая.

– Но разве я другой? – брови Поэта обиженно взлетели вверх и спрятались под облаком волос. – Я тот же, разве что исчезли морщины и седина. Неужели ты этому не рада?

– Рада, рада я! Я небывало счастлива! Просто, видимо, я страшно глупа, потому что сама не понимаю, что хочу тебе объяснить.

– Капризы, женские, капризы,

А если нет их, вы больны! –

продекламировал Поэт слова забытого ромansa. – А ну-ка посмотри на меня! – Он взял ее лицо в ладони, повернул к себе и – увидел только любовь. Он осторожно поцеловал ее в глаза, задумался, и вдруг весело воскликнул: – Подожди меня, маленькая! Подожди две минутки!

Через несколько минут к ней подошел знакомый рыбак-бобыль Труффан и весело закричал:

– А ну-ка пошли со мной, моя красотка! Там у причала тебя ждет сюрприз.

Эриола звонко хлопнула в ладоши и помчалась к причалу, где в лодке ее поджидал Поэт.

– Куда ты, милый? – спросила она, замирая от предчувствия радостного сюрприза.

– А куда ты думаешь, капризная? Конечно же в бухту Уединения.

Серебряный колокольчик разлился под темными волнами, так знакомо и остро пахнущими рыбой, водорослями и апельсинами. Это смеялась Эриола.

Бухта гостеприимно встретила их добродушной воркотней легкого прибоя и треском цикад. Торопливо раздевшись, Эриола побежала к воде, затем остановилась, оглянулась и помчалась обратно к Поэту, усаживающемуся на свой замшелый валун. Тоненькая, стремительная, как ласточка, она сверкнула бронзовой кометой – и через мгновение Поэт ощутил на лице ее прерывистое дыханье, а руки ее обвили его с непривычной силой, и маленькие груди обожгли, как черные медузы Роггаты.

Его руки потянулись к ней, но она мгновенно, как угорь, вывернулась из его объятий и помчалась к воде.

Всласть наплававшись, она вышла из воды, поеживаясь от озноба, и остановилась, затаив дыхание. На фоне розовеющего неба четко вырисовывался профиль Поэта, будто вырезанный из черного мрамора: дикая грива волос, прямой, острый нос, решительный, стальной подбородок.

– Боже, и этот человек принадлежит мне! Мне одной, всецело и навсегда, – промелькнула, согрев ее горячим дыханием, мысль. – Мне одной... За что мне такое счастье?..

А губы Поэта молитвенно шевелились. Он незряче смотрел, как она приближалась к нему, и что-то шептал.

- Ты молишься, любимый? – робко спросила она, натягивая платье.
- Я затверживаю наизусть строки, которые только что создал о тебе.
- Опять обо мне?
- Опять... Слушай! И он запел.

Прекрасной сказкой в полумраке
Она к воде сошла, нага,
И вечер преданной собакой
Покорно лег к се ногам.
И только ветер, налетая,
Ее касался горячо,
Обвив упругими шелками
И грудь, и смуглое плечо.
Она ступала, как волшебник
Поверх меня, поверх миров,
По облакам, по диким стеблям
Душистых, неземных цветов.
Она ступала и ступала
Средь раболепно никших трав.
И тьма, как простыня, сползала
С ее чеканного бедра.

Она смеялась счастливая, громко выкрикивала морю запомнившиеся ей строки и прижималась к Поэту преданно и горячо, мешая ему грести. Они уплывали из бухты Уединения в свою любовь, не оглядываясь, не видя, как горестно заламывает руки на горе Надежды затухающий огонь костра Отшельника.

10

Наступило двадцать пятое. День заседания парламента. Столица Какулии тревожно притихла, улицы опустели, магазины, кафе, таверны не открывались. Кое-где закоулками пробирались, тархтя по булыжнику, тележки, заваленные домашним скарбом. Некоторые горожане уходили в горы. Слухи о восстании и о черном списке Деламакаконе просочились через плотно закрытые двери многих домов Рамивенто.

Видно, и захватчики что-то заподозрили. Их канонерка, лязгая якорной цепью, снялась с рейда и вошла в залив, остановившись прямо против города. Длинные щупальца ее орудий, неуверенно потыкавшись в горизонт, решительно впились грозным взглядом в розовое здание парламента.

Мучительно медленно тянулся день. Раскаленное солнце лениво волокно по горизонту с десятков белых подушек облаков, стрелки часов на главной башне

парламентской площади старательно цеплялись за каждую минуту, будто пытаюсь остановить, время.

Поэт, запершись, сидел в кабинете, угрюмо уставившись в окно, и прислушивался к своему сердцу. Впервые за два месяца после операции оно ныло с утра, он уже дважды пил настой из черных; листьев горной розы Вархили, но успокоение не приходило.

Казалось, он приучил себя не думать о том, что может его взволновать, но сегодня ему это не удавалось. Мысли, словно воробьи, с ветки на ветку, перепрыгивали с одной темы на другую, и каждая из них таила в себе опасность боли.

В последние два дня он никого не хотел видеть, даже Эриолу, и старался не думать о ней, потому что мысли эти волновали. Кто-то несколько раз стучался в двери, настойчиво и долго, но он не открывал, пытаясь не раздражаться настойчивостью посетителей.

За эти два месяца мысли Поэта, его идеалы остались все теми же, но подаренная ему молодость, страх за больное сердце как бы высосали из этих мыслей неистовство и жертвенность.

Он и сейчас ненавидел пришельцев и заплывший жиром парламент, но ненавидел разумом, не подключая сердце, чтобы не перегрузить его лишними эмоциями. Он сам еще не понимал, что ненависть его стала пассивной, созерцательной. Так ненавидят землетрясение, приближающуюся старость, бурю, опрокидывающую в море корабли.

Он был всегда человеком чести, Поэт. И раньше не только не страшился опасности, но искал ее, черпая в ней силы и закаляя волю. Он каждый раз шел на заседание парламента, как на казнь, исповедовавшись своей совести, как богу. Он знал, что может не вернуться, и это возвышало его в собственных глазах и накаляло его слова неистовой страстью и убедительностью. Он не искал обожания народа – и легко добился его.

«Мне нечего стыдиться своей жизни, – устало думал он, глядя в окно, – Я отдал людям все – свой талант, свое здоровье, свою жизнь. Разве моя вина, что мне подарили вторую? Подарили, чтоб познать счастье в любви, счастье, а не муку ожидания смерти... Разве не заслужил я этого? Наконец пробил мой звездный час. У меня есть все. Любовь, слава и деньги. Разве не безнравственно, после всех мук и страданий, требовать от меня, чтобы я растоптал все это собственными ногами? Разве моя жизнь – не бесценное сокровище народа?»

Его рука тянулась к трубке, но Поэт спохватывался и горько усмехался.

«Я отказался от всех радостей, чтобы дать Эриоле счастье и самому познать его. О нашей любви народ слагает песни – так оберегайте же ее вместе со мной! Я ваш поэт – так дайте же мне возможность дарить вам радость долгие годы!»

Он подошел к окну. Прилив заполнил чашу залива до краев. Угрюмые волны с натугой раскачивали канонерку, и Поэту вдруг показалось, что ее орудия целят ему прямо в сердце.

...Галерка была переполнена, но Эриолу узнали и разыскали ей неплохое место, откуда хорошо видна была трибуна и та часть зала, где размещалась оппозиция. Через некоторое время прозвенел колокол и из боковой ниши появилась внушительная фигура Президента. Он прошел к столу, занял председательское

место и острым взглядом посмотрел на места, где сидели Неразумные. В рядах оппозиции возникло замешательство. Запаздывал их вождь – Поэт. Удивляло их и то, что Президент совсем не собирался спать. Он буравил свиными глазками зал и что-то быстро писал в свою огромную желтую тетрадь.

У Эриолы от волнения пересохло горло. Поэт не пришел. Он никогда не опаздывал на заседания парламента. Вокруг нее возбужденно гудел народ, и этот гул каменной глыбой давил на ее плечи. На нее оглядывались вопросительно, гневно и сочувствующе. Кто-то, молодой, горячий, крикнул в зал:

– Где Поэт? Куда вы дели Поэта?! Его поддержали десятки голосов:

– Где Поэт? Мы хотим его видеть! Внушительная фигура Президента нависла над трибуной. Он посмотрел на галерку и грозно крикнули:

– Молчать! Молчать, а не то я прикажу очистить гостевые трибуны!

Крики смолкли. Президент поднял пухлую руку и торжественно произнес:

– Слушай меня, парламент. Слушай меня, народ! Страна устала от дебатов. Чьи-то безрассудные головы хотят свергнуть нашу Какулию в хаос, залить кровью. Мы этого не допустим. Великая Заокеания несет нам цивилизацию и процветание. Наша дружба крепнет. И мы не позволим никому помешать этой дружбе. До меня дошли сведения, что кучка безумных авантюристов решила начать смуту. Мы предвидели это и предупредили друзей. Они наготове!

Все замерли, словно пораженные молнией. Странная, парализующая волю тишина обреченности обрушилась на зал. Несколько мгновений она душила каждого, не давая вымолвить ни слова, пока кто-то, мужественный, не прикончил ее гневным криком:

– Предатели!

Зал взорвался, забурлил, и даже умеренные вскакивали на сиденья и потрясали кулаками:

– Предатель! Позор!

Но оппозиция проиграла бой. Все ждали выступления Поэта, были уверены в нем, поэтому никто не был готов к роли лидера, никто не сумел вот так, внезапно, взять на себя эту тяжкую и опасную ношу.

– Они его убили. Они убили его, предатели, – лихорадочно шептала Эриола, сразу вспомнив, что дважды стучалась к Поэту, но никто в доме не отозвался.

– Они убили Поэта! – вдруг неожиданно громко закричала она, и весь зал подхватил ее горестный пронзительный крик.

– Убийцы! Предатели! – скандировали десятки людей, сразу поверив в смерть Поэта. Ведь они знали своего вождя, знали, что помешать Поэту выступить в парламенте могла только смерть.

А Эриола, подгоняемая гулом голосов, потеряв платок, простоволосая бежала к дому Поэта. Слезы застилали ей глаза, она споткнулась о булыжник и упала, разодрав в кровь колени и исцарапав ладони.

В доме Поэта горел свет. Эриола, обессиленная, прислонилась к косяку дверей, ничего не понимая, опустошенная и раздавленная, и только одна мысль четко выстукивала в ее висках:

– Жив, жив, жив!

Счастливая, всхлипнув от радости, она толкнула отпертую дверь, синей молнией пронеслась через прихожую и влетела в кабинет.

Поэт лежал на кушетке и читал книгу. Он поднял удивленные глаза, сел, отбросив одеяло, и с тревогой спросил:

– Что с тобой, Эриола? Почему ты в таком виде?

Она бросилась к нему, прижалась к груди заплаканным лицом и, судорожно обнимая его колени, простонала:

– Жив, жив!

Он растерянно начал гладить ей волосы, но тут, словно невидимая, гигантская пружина подбросила Эриолу. Она вскочила на ноги и, широко открыв глаза, изумленно спросила:

– Но почему ты не в парламенте? Там все тебя ждут! Там черное предательство! Там кричат, что тебя убили!

Поэт болезненно поморщился:

– Я неважно себя чувствую, моя маленькая, С утра сердце ноет и ноет.

– Что-о? Что ты говоришь? – потрясенно вскричала она. – Причем тут сердце! Там предали народ. Там тебя ждут!

– Успокойся, Эриола. Ты сама не знаешь, что кричишь. Мне вообще нельзя выступать в парламенте. Я просто не успел тебе этого сказать. Врач предупредил меня: еще одно – два выступления – и мое сердце не выдержит.

Он попытался ее обнять, но она, как ужаленная, отскочила в угол, и широко открытые ее глаза кричали от ужаса.

– Что ты говоришь? Что-о? Какой врач? Какое сердце!

Поэт нервно выпил воды.

«Не надо злиться. Не надо злиться, – успокаивал он себя. – Она еще – дитя неразумное. Она не понимает, что я живу ради нее». – Он снова сел на кушетку и ласково сказал: – Какое сердце?

Мое сердце! Оно теперь наше с тобой сердце. Нашей любви. Перестанет оно биться – и ничего не будет. Моя жизнь – это и твоя жизнь, Эриола. Мы, наконец, дождались своего счастья... Мы его выстрадали...

– Что ты говоришь? Боже, что ты говоришь! Какое счастье? Какая жизнь, если через несколько часов народ захлебнется кровью?

Она иступленно смотрела ему в глаза, уже не надеясь, что он улыбнется и скажет, что это все – глупая, обидная шутка. Она уже в это не верила и начинала понимать весь ужас открывшейся ей истины – ее любимый Поэт умер.

Он шагнул к ней, но она гневно выставила руки вперед и пронзительно закричала:

– Не подходи, ко мне! Ты мертв, мертв, мертв! Ты прав, твое сердце не выдержало! Оно умерло под ножом Архона.

– Ты, кажется, права, гордая Эриола! – раздался от двери печальный голос Тьерро. – Я все слышал! Но я надеюсь, что оно еще не умерло, оно только умирает...

Бледное его лицо в капельках пота повернулось к Поэту:

– Еще не все потеряно. Идем с нами. Тебя зовут любовь и народ.

– У меня болит сердце. Как вы жестоки! Я не могу подняться в горы. И зачем? Нас предали! Зачем же бессмысленно идти под ножи?

– Вот как он заговорил, – усмехнулся каменщик. – А ведь два месяца назад зажигал нас совсем другими призывами. Как же ты будешь жить, Поэт, когда тебя проклянет народ?

Эриола, шатаясь, подошла к Тьерро и взяла его за руку.

– Пошли отсюда. Дорого время. Нельзя его тратить на пустые разговоры...

И все-таки у самых дверей она обернулась. А вернее, ее обернула любовь. Поэт стоял лицом к окну, безвольно опустив руки, и плечи его вздрагивали.

Страшным усилием воли Эриола задержала свое тело, которое рванулось к Поэту, чтоб обнять его, ободрить и утешить – ибо никогда она не видела его таким.

Но она только медленно и громко сказала ему в спину, с трудом сдерживая стон:

– У тебя есть два часа. Мы идем в пещеру Отшельника. У тебя есть два часа. Два часа, чтобы спасти нашу любовь...

Поэт молчал, не оборачиваясь. С переборами, больно стучало сердце. В нем кричали обида и боль.

– «Неблагодарный народ! Ты недостойн моего гения, моих мук ради тебя! И ты, Эриола, неблагодарная, как все... Оскорбить того, кто живет ради тебя? Ради твоего счастья... Ты придешь просить прощенья – и горько, стыдно будет тебе».

Из сада к нему донесся голос Тьерро:

– Ну что ж, Поэт, смотри из окна, как мы идем умирать!

Эриола, опустошенная, поднялась на гору Надежды. Где-то уже невысоко, в десяти минутах ходьбы, была пещера Отшельника.

Вдали смутно вырисовывался сумрачной громадой остров Папулия. На миг он показался Эриоле гигантским черным чудовищем, плывущим из глубин океана, чтобы растоптать все живое вокруг.

Она гневно вскинула кулаки вверх и закричала навстречу чудовищу страстно и обреченно:

– Будь проклят ты, Архон! Будь ты трижды проклят за то, что отнял у меня любовь!

11

Она безутешно плакала на груди Отшельника, а он гладил ее волосы жесткой, как наждак, рукой и сочувственно бормотал:

– Поплачь, дитя, поплачь. И я с тобой поплачу, ибо повинен в этом больше других. Но не от злого сердца сделал я это, а от великого сострадания и уважения к вашей любви. Ведь знал – наисильнейшим из сильных под силу испытание молодостью, но думал я, что поможет ему ваша любовь...

– Но ведь я люблю его, люблю и сейчас!

– Да ты любишь его, но того, пятидесятилетнего... И будешь любить его всю жизнь. Но его уже нет... Ты будешь любить память о нем, – бесстрашном патриоте, бесшабашном гуляке, страстном ораторе, великом поэте, человеке чести. Ты будешь любить его. Но не этого, заплывающего самодовольством, глухого к боли ближнего, бегущего от жизни в скорлупу своих красивых, но пустых романсов.

– Но как же это произошло? Можно ли так измениться за два месяца? Ведь это непостижимо!

– Дитя, можно измениться и за мгновение. Да, да, за мгновение. Стоит сказать «да» врагу, купившему тебя золотом, стоит закрыть глаза, когда унижают слабого, – и все, ты уже другой!

– Но он любит меня! Он еще может прийти... Может!

– Он не придет, Эриола. Не надейся на это, – мучаясь, но твердо сказал Отшельник. – И он уже не любит тебя.

Эриола гневно вскинула руки, будто пытаюсь оттолкнуть от себя эти страшные слова, но Отшельник не дал ей ничего сказать.

– Он уже тебя не любит, дитя. Хоть и сам этого не знает. Ему нечем тебя любить. Ведь ты сама это сказала. Он думает, что он молод, в расцвете лет, а он уже мертв.

Старик снова погладил ей волосы.

– Беречь сердце! Вдумайся в эти слова. Какой ценой его можно сберечь? Ужасной ценой, Эриола. Беречь сердце – это не пускать в него боль, страдание, гнев, даже любовь! Жизнь в него не пускать, хоть это ты не понимаешь, девочка! Я согласен, что он сделал это ради тебя, чтоб продлить ваше счастье! Но потерял и тебя, и счастье, и честь. Он еще этого не понял, он еще не понял, что не может быть любви и счастья без страсти и боли, без страданий и слез... Он не проснулся, но пробуждение его будет страшным! Он проснется, чтоб снова умереть.

Они вышли из пещеры. Внизу в распадке хмуро стояли, пятьсот юношей – второй отряд повстанцев которых должен был вести Поэт. Их лиц не было видно, но голоса выдавали смятение.

Подошел угрюмый Тьерро.

– Они говорят, что если вождь не пришел – значит, он не верит в победу. Значит, борьба бессмысленна... Я ничего не могу им объяснить. Они боготворят Поэта и верят только ему – Они трусили? – с отчаянием воскликнула Эриола.

– Нет, неразумная. Они не трусили. Я поведу их на рудники. И они пойдут на смерть, все как один. Они говорят: мы дали клятву – и не нарушим ее. Но это будет бунт кучки недовольных. А если бы нас вел вождь – это было бы восстание народа.

Эриола подошла к краю горы. Внизу, четко обозначенная белым кружевом прибоя, глухо шумела бухта Уединения. Казалось, все чувства, все горе выкипели в душе Эриолы, оставив только холодный пепел отчаянья. Но, увидев бухту, свидетельницу и наперсницу ее короткой, безоглядной и жертвенной любви, Эриола снова глухо застонала, до крови закусив губу. Будто боги на огромном экране неба мгновенно прокрутили эти два года мучительного ее счастья, за один час которого она бы сейчас, не ропща, отдала жизнь.

Она явственно увидела Поэта, летящего к ней с горы под парусом седой гривы волос, почувствовала на груди его жадные руки, ощутила пронзительно знакомый запах костра, вина и табака – колени ее подломились, она упала лицом в жесткую траву и забилась в рыданиях, как пойманная сетью птица.

«Проклятый Архон, проклятый Архон, что ты наделал! – шептала она. – Зачем мне нужна его молодость? Верни мне его старого и больного, проклятый Архон».

С треском, веселым гулом взвился в небо флаг сигнального костра. Столб огня вытянулся на десяток метров – и все увидели его.

Заметил его и Поэт. Заметил... и словно проснулся. Будто этот огонь мгновенно сжег черную повязку, которую кто-то надел ему на глаза – и он увидел себя на краю

пропасти. Он потрясенно смотрел на сигнальный огонь, и мука безысходности, позднего прозрения, оглушающая боль в сердце показали, сколь глубока эта пропасть.

Он попытался выдавить из себя эту муку, чтоб хотя бы продохнуть, и вытолкнул ее на несколько мгновений хриплым криком:

– О, боже, что со мной? Какие злые духи околдовали меня? Зачем мне молодость, зачем мне сама жизнь без Эриолы! О смерть, где ты там, входи! Входи же...

Безумным взглядом он обвел комнату – книги, рукописи, вазы, ковры и клинки на стене, добротные, пренепойские клинки. Одним прыжком, как барс, он достиг стены, сорвал клинок и, перепрыгивая через несколько ступенек, выскочил на улицу и помчался в горы. Сердце его рвалось из груди, раздираемое болью, из горла вырывался не крик, а хрипый вой, он бежал и бежал, снова почувствовав себя собою, и в голове его металась, добивая его, страшная мысль: «Поздно, поздно, все поздно».

На середине горы силы отказали ему. Он упал на камни и тут же услышал гром орудий. Он хотел встать, но сознание померкло, и он полетел в черное никуда.

Когда он очнулся – город уже горел. Черный дым стоял над столицей Какулии, над рудниками, и сквозь этот дым неслись к нему обреченные крики женщин и детей.

«Значит, не удалось захватить корабль. Значит, все погибло», – ужаснулся он и отчаянно закричав: «Эрио-о-ла!», побежал вверх, чтобы найти, защитить, прикрыть телом свою любовь.

Она увидела его в крови, задыхающегося, исцарапанного, в рваной одежде – и поняла, что снова любит его. Нет, она поняла больше: что любила всегда, каждое прожитое ею мгновенье, любила старого и юного, страстного и равнодушного, храброго и трусливого. И это придало ей силы.

Она подошла к самому краю обрыва и, повернувшись к нему спиной, смотрела, как карабкался Поэт к ней, хрипло выкрикивая ее имя, хватаясь окровавленными руками за камни.

– Куда же ты лезешь, несмысленыш? Ты позабыл о своем больном сердце? – нежно шептала она, и счастье ее было так нестерпимо, что слезы наворачивались на глаза. – Он любит меня, глупенький. Любит. Ты ошибся, мудрый Отшельник. Он любит, но опоздал на два часа.

Камень сорвался из-под ноги Поэта, и он скатился вниз, ударившись лицом о валун, но тут же встал и, хрипя, пополз вверх, обдирая в кровь локти и колена.

– Да, мы любим друг друга, – продолжала шептать Эриола, глядя, как, оставляя кровавый след, ползет он к ней, ее любимый. – Да мы любим – и нет на свете сильнее нашей любви. И больней. И никому не дано стать ее судьей. Ни людям, ни богу. Я позабочусь об этом.

Он подполз к ее ногам, окровавленный, задыхающийся, уже мертвый. И только великая любовь подняла его на колени и дала ему силы прошептать:

– Любимая... Прости.

И она, счастливая и спокойная, нежно склонилась к нему, провела ладонью по окровавленной щеке и тихо сказала:

– Я слышу тебя, любимый. И прощаю. И доказываю это...

И она шагнула к обрыву и потом вторично шагнула в пустоту, и сердце Поэта мгновенно разорвалось на тысячу осколков, как снаряд злой заморской канонерки.

А она летела, счастливая, лицом к морю, своим мгновенным полетом искупив грехи их короткой и яростной, как летний дождь, любви, и бухта Уединения летела ей навстречу, раскинув руки, и такие маленькие с вышины камни росли, росли...

Великие боги, сделайте милость, дайте ей крылья в этом полете!